

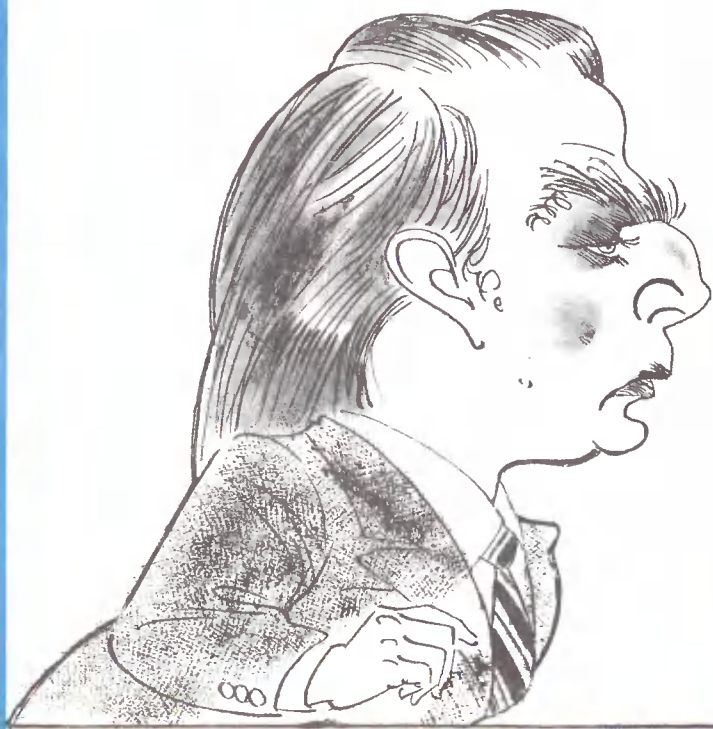


№ 22

Алексей ХОДАНОВ РУБАКА-ПАРЕНЬ

ISSN 0132-2141. Б-ка Крокодила. 1990. № 22. 1—48.





Дружеский шарж В. МОЧАЛОВА

Ищу юмор в самых критических ситуациях, несмотря на то, что ситуаций таких все больше, а юмора все меньше, а помогают мне в поисковом деле некоторые наши ораторы, слушая которых, невольно вспоминаешь жесткое требование древних «Хлеба и зрелищ!». И мелькнет иногда в этой связи сумасшедшая мысль: пусть, пусть с хлебом у нас иной раз туговато, зато насчет...

А. Ходанов



БИБЛИОТЕКА
КРОКОДИЛА

№ 22

(1106)

ИЗДАЕТСЯ С 1945 ГОДА

Алексей ХОДАНОВ

РУБАКА-ПАРЕНЬ

Рисунки В. ЛУГОВКИНА.

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1990

ПОГОВОРИМ, ЧИТАТЕЛЬ!

СЫГРАЕМ В «ЯЩИК»?

О великая и могучая советская острота, полная волшебных каламбуров, тончайших государственных намеков, состоящая из выдержанных в душистом перце слов, благоговейная совострота, которую, как ни переводы на иностранные языки, так никогда точно не переведешь. И уходит развеселившийся иностранец, оживленно кивая, а на деле окончательно запутавшись в дебрях нашей действительности, ибо, увы, не понять ему, симпатичному и благожелательному, снисходительно-ироничному, всесторонне защищенному от всех сквозняков незыблемыми сводами своих демократических законов и не знающему, что такое дефицит, — никогда не понять, над чем он только что так искренне хохотал!

Я вам точно скажу: чтобы получить истинное наслаждение от совостроты, надо родиться в СССР и к тому же быть неоднократно битым — в лифте ли, во чистом поле, в прессе ли или на партсобрании, но лучше всего в очереди за хрусткими школьными тетрадями.

Уж и не помню, где и когда был этот райкинский концерт, оставшийся навсегда светлым воспоминанием: Аркадий Исаакович, тогда еще с одной лишь седою прядью, сводившей с ума поклонниц, источая неповторимое обаяние, в немислимо respectable белом костюме укоризненно говорит оторопевшему, всклокоченному, с набрякшей плутовской физиономией Ляховицкому:

— Как же ты можешь с такой будкой в нашем «ящичке» работать?!

Зал взлетел от взрыва хохота, а рыжий ирландец, сидящий рядом, вцепился в переводчика, торопясь понять. Но переводчика заклонило, правда, не надолго, потому что это был на редкость находчивый пере-

водчик, и, стараясь не упустить последующих событий на сцене, он скороговоркой объяснил:

— Райкин сказал этому типу, что с его лицом, напоминающим домик для собаки, нежелательно работать на заводе!

— Потому что собака охраняет этот завод! — догадался ирландец и вежливо улыбнулся.

Совострота осталась нераскрытой. Однако ничего бы не изменилось, даже если бы переводчик сказал всю правду, если бы он сказал:

— Острота держится на сочетании родственных понятий: будки и ящика, это — с одной стороны. А с другой — будка, то есть физиономия, ассоциируется с «ящичком». Так называются всемогущие, не известные широкой общественности организации, которые функционируют как им вздумается, исходя из своих интересов. И прикрываются в случае конфликтов и нарушений чьих-то прав двумя магическими словами: «оборонное предприятие».

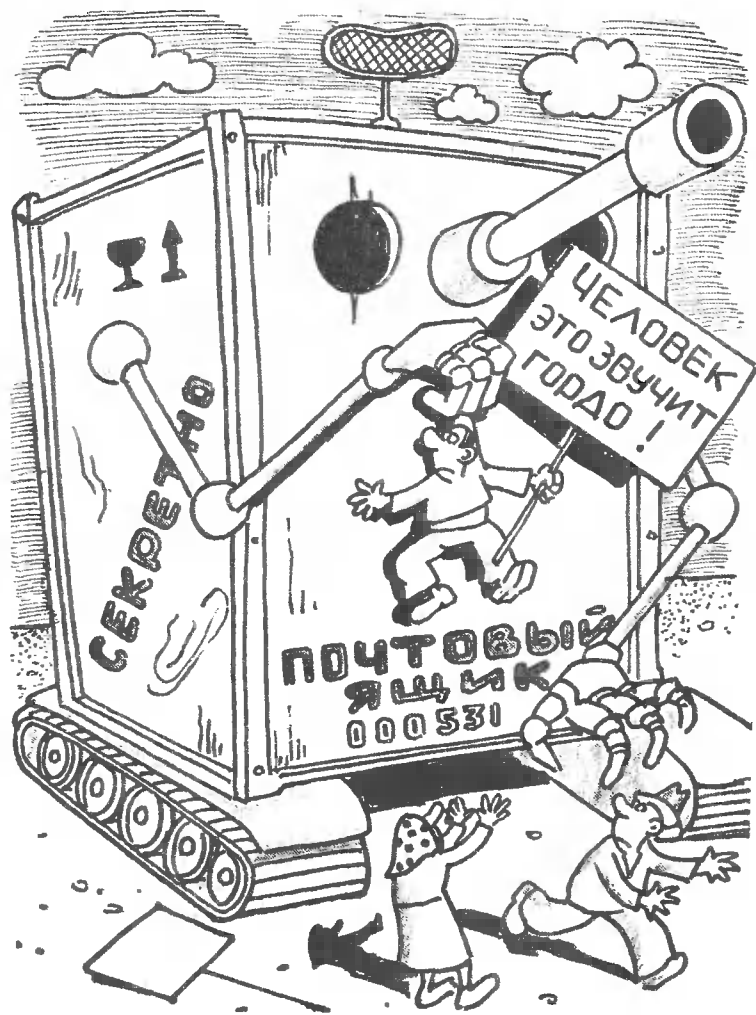
...«Ящички», «ящички», гигантские корпуса, необъятные территории, заборы, напоминающие недоброй памяти «берлинскую» стену, мощный, выложенный мраморными плитками или гранитными глыбами, центральный вход, возле которого вместо доски с названием — съёмные таблички: требуются, требуются, требуются...

Требуются шлифовщики и прокатчики, психологи спортивных команд и повара, знающие французскую кухню, опытные нянечки и затейники со стажем, журналисты и отоларингологи, аккордеонисты и таксисты, охранники и кассиры, артисты балета и пиротехники, рабочие сцены и аквантангисты, и прочая, и прочая, и прочая, — всем хватает места в «ящичке», выложенном льготами, удобствами и высокой зарплатой.

Теперь уж, пожалуй, не установить, как и когда испарилось первое слово — «почтовый» — и укоренилось второе, создав заботы переводчикам: «Работая в «ящичке», он имел допуск», и попробуйте это перевести на любой цивилизованный язык, включая клинопись!

Я вполне могу поверить, что в высоких сферах имеются убедительные данные о пользе «ящичков» как таковых («Наш «ящичок» активно участвует в освоении космических пространств»). Что кому-то «ящички» приносит радость, кого-то пестует, наставляет и объединяет («Товарищи, это просто замечательно, что все мы вышли из одного «ящичка!»). Что именно в «ящичке» воспитываются настоящие мужчины и мудрые женщины. Что кому-то в «ящичке» выдаются премии и квартиры. Но лично мне, человеку, далекому от техники и ничего общего не имеющему с «ящичковскими» проблемами, именно «ящичок» как таковой доставляет одни лишь неприятности. Да только ли мне? От «ящичков» страдают все соседи, особенно если этими соседями являются жильцы близящичковских домов.

Удивительное дело: вместо того, чтобы выдворить образования типа «ящички» за пределы городов, как это сделали давным-давно в той же Швеции, мы позволяем им, бесцеремонно дымящимся, дурно пахну-



щим, изводящим окружающих круглосуточным грохотом, укореняться и разрастаться ввысь и вкось. И чадят, и дымят, и тархтят — рукой подать до Красной площади. Да только ли в Москве! Полюбовавшись как-то Ленинградом с высоты гостиницы «Советская», я обнаружил вместо Исаакия, Адмиралтейства и Зимнего одни лишь трубы. десятки, если не сотни безобразных труб, окутывающих великий город ядовито-желтыми, чернильными, оранжевыми дымными выбросами. Так вот. если в «самой чистой и зеленой» летней Москве белая рубашка к вечеру становится кремового цвета, то в славной северной столице светская жизнь рубашки заканчивается к обеду. На Урале же, говорят, белых рубашек просто не носят. Удобнее было бы передвигаться по улицам в скафандрах и противогазах.

Но вернемся к совостротам. Произнесенные не с эстрады, а в привычной рабочей обстановке, они не вызывают даже улыбки. Когда директор произнес с трибуны: «Поскольку у нашего «ящика» такая героическая биография, жить «ящику» долго и счастливо!», раздались бурные, долгие аплодисменты.

И ради жизни «ящика» сносится один из ветхих корпусов, стыдливо выглядывавших на улицу из-за трехметрового с колючей проволокой забора, и на стройплощадку, обрамленную штабелями бетонных свай, пригоняется шипяще-плюющий дизель-молот. Жильцы соседнего, через улицу, многоэтажного дома с некоторым беспокойством поглядывают на все ускоряющееся подозрительное копошение. Они еще не знают: для того чтобы никто не поглядывал туда, куда глядеть не положено, принято решение возвести новое здание на базальтовом цоколе с матовыми окнами. Это обеспечит в дальнейшем успешную работу в сочетании с полнейшей на грядущие века конспирацией.

Рано утром жильцы просыпаются от подземных толчков. Скрипят перекрытия, стонут несущие балки, трясется пол, с потолка валится штукатурка. Зыбкий грунт с речушкой, когда-то упрятанной в трубу, на котором стоит микрорайон, дышит, как спринтер после забега на четыре метра с барьерами. И вот уже на второй день пересекли со всех сторон девятиэтажный дом мелкие трещины, а со стороны улицы, где в двадцати метрах бесчинствует дизель-молот, стена не выдержала — лопнула на уровне первых двух этажей.

И началась столетняя война звонков и ответов, и сразу же обозначилась проигравшая сторона — жильцы. Тактика «ящика» оказалась удивительно простой, отчего жильцы, которые попытались подключить к боевым действиям исполком, сразу же оказались в котле. Руководящие голоса спускают жалобщиков в отделы, отделы либо не снимают трубку, либо туманно обещают. Тут выясняется, что кто-то должен создать экспертные комиссии и по рассмотрении дел на месте выводы комиссий могут быть изучены на соответствующем уровне. С участием представителей заинтересованных сторон здесь планируется проведение надлежащего совещания с последующим направлением принятого решения

по принадлежности. И только тогда кто-то решительный и важный войдет с ходатайством о возможном приостановлении строительства, а уже там, в совершенно недостижимых сферах, оценив все «за» и «против», создадут компетентную комиссию с правом решительного вмешательства в назревший конфликт в целях разработки компромиссных вариантов...

А тем временем часть первого этажа, возле булочной, угрожающе отошла от каркаса, нависла над прохожим, ввиду чего были приняты незамедлительные меры: отгораживание оной хрупким деревянным заборчиком. Надо отметить, что и «ящик» принял участие в этой акции, произведя незапланированный выброс удушающих газов в окна непокорных жильцов из маленькой, но хорошо просматриваемой с верхних этажей трубы.

Затем «ящик» окончательно доказал, что тревожить его не только бесполезно, но и вредно: в одну ночь силами богатырей-умельцев были перенесены многотонные плиты забора... на проезжую часть единственной улицы, связывающей микрорайон с городом, что превратило улицу в узенький проулок с односторонним движением и сняло весь общественный транспорт, который пошел теперь в дальний объезд. Прямо на разделительной полосе бедной улицы была учинена мощная кирпичная кладка, заленившая прогалины в заборе, чтобы не то чтобы шпиона, а мышь с прикрепленным на хвосте микропередатчиком не проникла.

А когда одному из жильцов удалось все же дозвониться до самого дежурного по «ящику», тот, терпеливо выслушав претензии, многозначительно сказал:

— Вы не понимаете ситуации. **ТАК НАДО!**

За глухим забором, как в заключении, тихо шелестели тополя — гордость улицы, но поскольку величавые красавцы оказались на пути бащенного крана, их спилили темной ночью под корень, чтобы потом, когда вознесется шедевр из мутного стекла и неприглядного бетона, высадить в замусоренный грунт чахлую березовую кашлицу. Потом пришло еще одно ошеломительное известие: оказывается, шедевр, вознесясь, заслонит жильцам солнце, отчего в квартирах грянут вечные сумерки.

Но никто не подал в суд, никто не объявил голодовки, никто не вышел к проходной завода с самодельными транспарантами, никто никуда ничего не писал. Просто, устав звонить в инстанции, люди затихли и стали покорно ждать своей участи.

Гипнотическая сила исходит от огромной таинственной государственной машины, уверенно делающей то, что продиктовано некоей железной необходимостью, и человек, попадающий в поле действия этой машины, оглушенный ритмичным свистом поршней и завораживающим гулом маховиков, вдруг начинает чувствовать себя крохотным винтиком с засорившейся резьбой.

— **ТАК НАДО!** — стучит машина. — **ТАК НАДО!**

Но представим себе, что такое же заурядное противоборство случилось «не у нас». Будь на моем месте Кашиповский с Джуной, они бы

уже увидели внутренним оком, как вы, дорогой читатель, саркастически улыбаетесь. Поэтому не буду рассуждать, почему ТАМ этого не может быть, это же ясно каждому, что там такого безобразия не может быть никогда. Скажу только, что десятки правительственных организаций, включая суды всех инстанций, немедленно пресекут криминальные действия зарвавшихся промышленников и наложат на них такой штраф, а потерпевшим жильцам организуют такую компенсацию за нанесенный ущерб, что, положив эти суммы на срочный вклад, можно стричь купоны всю сознательную жизнь.

Не было дня, чтобы я не прочитал в каком-то периодическом издании, не услышал по радио и телевидению фразы: «Человек — это звучит гордо!», «Права человека в нашей стране...» и т. д. и т. п.

Вы заметили, что концентрация этих фраз давно превысила допустимые нормы?

ВЕК СКОРОСТЕЙ

Он ворвался в редакцию, колючий, невыспавшийся, обиженный на весь Советский Союз и даже на некоторые дружественные нам страны.

— У меня отпуск, я поехал отдыхать! — завопил он с порога. — Я прилетел в Симферополь, а мой багаж — в Ленинград! Звоню в Ленинград, а сам еду в Ялту — у меня путевка, но мой багаж улетает во Владивосток, потом в Петропавловск-на-Камчатке! Когда я узнал, что мой багаж осел в Магадане и, возможно, улетит в Кушку, бросил путевку и к вам — упраздняйте Аэрофлот!

Я с сочувствием смотрел на этого заблудшего человека, которому, как и многим чудакам, не суждено понять, что Аэрофлот тут ни при чем, что виноват он сам и только сам.

Виноват в том, что связал свою жизнь с комфортом. Был бы скромнее, сидел бы дома, питаясь при случае сосисками и кефиром, ничего бы такого с ним не произошло.

Сами посудите, могло ли такое случиться с багажом во времена, скажем, великого Гоголя, когда пожитки пассажиров отправляли на перекладных? Станционный смотритель, дотошно пересчитав чемоданы и картонки, десять раз заглянул бы в свою замусоленную книгу, и ящик получил бы самое точное и конкретное указание.

А сейчас, в век больших скоростей, в век всеобщего сервиса, когда в голове диспетчера самого незаметного аэродрома роятся десятки названий рейсов, когда в разные стороны разлетаются тысячи самолетов, и все с багажом, за которым не поспевают обескровленные носильщики, — крохотная неточная запись в журнале измеряется уже сотнями километров.

Так что это еще что! А вот один наш жизнерадостный читатель Го-



лод из Минска рассказал нам воистину уникальную в своей простоте историю. Послушайте все, потерпевшие от Аэрофлота, и вам станет веселее, и жизнь ваша снова заиграет яркими красками.

Итак, поставщик предприятия, на котором он работает: один винницкий завод, отгрузил по соответствующей квитанции 920 штук подшипников. Прибывает через пять дней в Минск счет, а подшипников все нет. Звонит тогда Голод диспетчеру по грузоотправке аэропорта Винницы, спрашивает, где, мол, груз. А ему отвечают, что все, мол, в порядке. Груз есть, то есть был, но ушел в Быково, в Москву.

Невозмутимый Голод даже не спрашивает «почему?», а сразу же заказывает Быково и слышит ответ: все в порядке, груз на месте.

— В Минске? — уточняет Голод.

— Да вы что? — удивляются в Быкове. — В Смоленске.

Заказав Смоленск, Голод узнает, что груз ушел в Новгород.

Скорость, скорость, скорость! Мелькают города, и незнакомые люди в форме ГВФ не успевают как следует удивиться незнакомому грузу, как уже в другом городе другие люди в той же форме пожимают плечами. Но не паникует мудрый Голод, а только спешит в унисон с нашим веком поскорей связаться с Новгородом, чтобы узнать, что груз наконец-то отправлен в Псков.

Тут-то Голод и решил действовать: схватил такси, домчал до аэропорта, и через пару часов уламывал утомленную псковскую администрацию отправить груз по назначению.

— В Омск? — уточняет администрация.

— Теплее, теплее. — Голод берет собеседника за пуговицу и проникновенно, по-чумаковски, смотрит в глаза.

— Так, так, — начинает суетиться администрация. — Значит, не Омск, но тогда... тогда... Минусинск?

— Точно! — радуется Голод. — Только минус «усин». А?

— Так, значит, в Минск! Так бы сразу и сказали!

— Да я, извините, родной мой, не только сказал, но и написал! Вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь!..

Все закончилось благополучно, если не считать, что Голода неожиданно заело, как старую пластинку, и он несколько дней, пока не пришел груз, говорил всем «здесь», хотя повода уже не было.

Ну и что, спрашивается, случилось? Да ничего. И багаж пришел в сохранности, и подшипники пошли в дело. Время нынче такое: век больших скоростей, не успел оглянуться, а ты уже в другой части света. Да что какие-то там подшипники! Читаешь газету, а всюду уже другое правительство. Вчера было одно, сегодня другое. Раньше для этого требовались кровавые десятилетия, сегодня пара-другая бескровных дней.

Скорость, скорость, скорость! Вчера было дело — сегодня табак. Вчера был табак — сегодня дело. Дело в том, где бы достать закурить. Может, у вас найдется, товарищ из Ялты?

— Найдется, с удовольствием, но — в Магадане!

АППАРАТНЫЕ ИГРЫ

ЗЯТЬ В ПОСОЛЬСТВЕ

То, что Петр Петрович намеревался руководить вечно, доказывал его стол, потому что за таким столом временно не сидят, и дело тут не в ценнейшей породе самшита, из которого был изготовлен этот стол на спецмебельной фабрике, и не в отделке из драгоценного сандалового дерева, закупленного на валюту при посредстве великодушных людей из одного внешнеторгового учреждения в одной из заморских стран, дело даже не в волшебном благоухании, разносившемся через кондиционер по всему зданию, отчето в глазах подчиненного аппарата, усталого от задушевных телефонных бесед, бесконечных продуктовых заказов и местных ярмарок, укрепляющего нервы вязанием «по Бурде», в глазах этих, обремененных госответственностью людей, зажатых романтический огонек: есть же где-то там, за тридевять земель, вечное лето, где население наслаждается только роскошью и любовью.

Решающей приметой того, что Петр Петрович хотел руководить именно вечно, была форма стола — в виде трапеции, причем широкое ее основание примыкало к креслу Петра Петровича, а необыкновенно узкая вершина упиралась в стул, на который никто добровольно не садился.

Если бы существовало закрытое спецбюро по административно-аппаратным изобретениям при Совмине СССР, то Петр Петрович как автор проекта стола для повседневных совещаний наверняка бы получил патент с поощрительным дипломом 2-й степени (диплом 1-й степени уже был бы вручен незаслуженно безмянному энтузиасту, внедрившему на Съезде народных депутатов СССР сиротливые микрофоны в зале с мощным выключателем в президиуме).

Стол-трапеция действовал так же безотказно и неотвратно, как тот выключатель, и стоило только какому-нибудь развешемуся на министерских хлебах самоуверенному чиновнику сесть за боковую линию этой благоухающей трапеции, поближе к выходу, подальше от начального окна, в надежде, что мощные торсы коллег заслонят, уберегут и прикроют, как вдруг он с ужасом ощущал как бы исчезновение своей роскошной финской тройки, ослепительно белой рубашки тонкого голландского полотна, галстука от «Диора» и чувствовал себя, только что respectable, влиятельного и властного человека, как бы абсолютно голым, со стыдливым румянцем, не знающим, куда деть свои такие прежде ловкие пальчики.

Кресло, на котором Петр Петрович свободно парил над столом, наверняка бы поразило самого Ивана Великого, просидевшего все свое царствование на жесткой табуретке со спинкой. Это кресло с ножным приспособлением для набора высоты, пуховым, точно соответствующим объему руководящей головы подголовником и нежно пружинящими подлокотниками из шагреновой кожи, по мнению мебельно-аппаратных поэтов, придавало его владельцу необыкновенный авторитет и ореол верховной власти.

Петр Петрович оттуда, из горнего полета, впивался иглами всевидящих зрачков в каждого участника совещания одновременно (в этом-то и был секрет стола-трапеции), и хотя при этом он, как всегда, скрывая отсутствие надлежащей эрудиции и знаний, многозначительно молчал, до каждого сидящего доносился клекот орла-стервятника:

«И тебя, сукина сына, тоже вижу, как на рентгене! Знаю, кто ты, как, что и чем! Терплю, сам не знаю почему, но вот уже он у меня в руке, вот он, ремень, щас ка-ак врежу, с оттяжкой, по сытой физии, три антрекота — четыре апперкота!»

Был он сторонником силового воспитания, распекал в традициях предшественников, не вдаваясь в подробности служебных упущений, но вставляя в непечатную словесную вязь вопросы типа: «вы думали о партии?», «вам дороги интересы страны?», и при этом кричал и топал так, словно затаптывал в землю конокрада.

Когда сотрудники, тесня друг друга и вытирая взмокшие затылки, вырывались из кабинета на волю, а Петр Петрович оставался наедине со своим столом, наступали тихие, блаженные минуты мечтаний и обдумывания планов ближайших и долговременных.

Сначала он представлял, как будут гармонировать со столом наполненные часы работы французского мастера XVII века, которые пообещал ему один обанкротившийся, но необычайно прыткий и нахальный фирмач, за что предварительно сорвал дерзкое и абсолютно невыгодное для министерства соглашение.

Потом, глядя в окно на сползающую завесу из искрящихся снежинок, сквозь которую слабо угадывались контуры мощных зданий, думал о Гавайских островах.

«Там сейчас хорошо,— рассуждал Петр Петрович,— ну. во-первых, очень тепло, пальмы там, прибор, конечно, во-вторых, встречать будут на уровне. В-третьих, Танька с Эдькой обещали подлететь из своего тепленького посольства. Зятек не сахар, конечно, понятно, что не на Таньке, а на мне женился, но не такой уж дурачок, и хитрован, ой, хитрован, в посольстве у кореша сам до второй должности дорос, конечно, не будь меня, и не дорос бы, никогда не дорос, но ведь язык-то сам выучил — факт, и попробуй кто теперь доказать, что семейственность там, протекционизм — накось выкуси!»

Петр Петрович нежно глядел на телефонные аппараты — целая батарея аппаратов, черные, белые, красные, и вот эти два, и среди них вот этот...

Все чаще и чаще наступали минуты, когда упоение властью и гордость за проделанную карьеру вызывали легкое головокружение, в животе что-то сладко щекотало и обрывалось, подбородок сам по себе задирался, как на статуях римских цезарей, дыхание прерывалось, и наступал кайф.

Однажды в этот самый блаженный момент и заверещал телефон. Не какой-нибудь цветной, а «вот этот»... И то, что заверещал он именно сейчас, когда официальная работа уже закончилась и высокие руководители, задержавшись в кабинетах, завершали свои личные дела, успокаивало и даже обнадеживало.

«Значит,— подумал Петр Петрович,— звонок частный. Скорее всего, новый фильм на даче...»

И порывистым движением смахнул трубку с рычага:

— Рад приветствовать вас!..

Шеф обычно не отвечал на приветствия, но на этот раз ответил многословно и странной скороговоркой, спросил про здоровье, отчего Петр Петрович даже растерялся.

— Спасибо, вроде все в порядке...

— Вот и я думаю, что вроде. Пометь на календаре: завтра в десять быть на комиссии Верховного Совета.

— Пометил,— четко, как всегда в разговоре с шефом, отпрапортовал Петр Петрович.— Какой вопрос готовить?

— Депутаты хотят, чтобы ты объяснил, почему заключил соглашение о невыгодных поставках сырья этой странной фирме, которая обанкротилась.— Шеф сделал паузу и задумчиво сказал: — Не понимаю, Петро, что заставило тебя ухнуть столько валюты, айньки?

— У меня документы в порядке, тут одна стратегическая хитрость, дальновидное решение...— сухо забормотал Петр Петрович,— в предвидении далеко идущих благоприятных последствий...

— Вот и объяснишь, а заодно они хотят узнать, как ты лично понимаешь задачи, перед тобой поставленные, и твою позицию по преобразованию...»



— Зачем им это?—простодушно удивился Петр Петрович.— Им что, делать нечего?

— Я тоже так думал,— вздохнул шеф.— А теперь не думаю. Хотя бы убедиться в твоей компетентности. Сейчас это модно. Надеюсь, годовой план и его реализацию знаешь наизусть?

— Да не так чтобы, но...

— Запомни: шпарталки исключаются. Будут вопросы по северному комбинату, много жалоб.

— Про посольство не спросят?— вырвалось у Петра Петровича.

— Не понял.

— Извините, это я так, про свое...

Петр Петрович повесил трубку, вытаскил расческу и тщательно причесал поредевшие на висках волосы. Потом нажал кнопку селектора:

— Леонид, какой у нас на севере комбинат портачит?

— Честно сказать, Петр Петрович, извините, конечно, все. А у вас какие-то сведения о конкретном?

— Ладно, потом.

Петр Петрович тщательно продел расческу и положил ее в нагрудный карман, сбоку важных карочек с золотым тиснением. Взялся было за трубку «вот этого» телефона, но отдернул руку и снова посмотрел в окно. Снег прошел, и громады высотных зданий четко вырисовывались в подернутом заревом ночном небе. Где-то гремела музыка, незнакомая и малопривычная, но кому-то она была по вкусу, если уж запустили громкоговорители на такую мощь. Это ж надо так нахально запускать, тут учреждение, госучреждение, а они даже не считаются, ни с чем не считаются, ни с должностью, ни с регалиями, запускают свою музыку и кривляются, а ты должен терпеть, да кто же это такой бесцеремонный, или с ним уже можно и не церемониться?

От этой мысли оборвалось что-то в животе, резко и болезненно, как это было однажды во время приступа аппендицита, когда лопнули спайки.

У подъезда стояла в напряженном ожидании большая черная машина. За плотно обитой дверью кабинета стрекотала пишущая машинка: рождались новые приказы, инструкции, циркуляры.

От Петра Петровича еще исходили мощные биотоки власти, и телефоны весело тарачили на него свои круглые диски: позвони, прикажи. И он, Петр Петрович, вот сейчас, сию минуту, может, если захочет, подписать помощнику Леониду любую заграничную командировку, хоть на остров Эльбу, может закрыть не только северные, но и южные комбинаты, вот просто взять и закрыть, может назначить, снять, уволить, переставить, заставить...

Он торопливо взглянул на предмет зависти министерских щеголей— на свою «Сейку» с красными серпом и молотом на циферблате и буквами магического слова «перестройка», заменившими обычные цифры: до начала работы комиссии оставалось целых двадцать часов.

Петр Петрович сел в машину, как всегда, на заднее сиденье, вдавившись плечом в левый угол, приказал:

— Во Внуково, к цыганам!

Заметив удивленное лицо шофера, с горечью вспомнил, что цыган во Внукове давно уже нет.

ЧЬЯ ПРАВДА КРЕПЧЕ?

Илья Ильич жил точной, размеренной и утвержденной кем-то наверху жизнью. Ровно в восемь вставал, заученными движениями приводил себя в порядок, с особой тщательностью маскируя обнаженное темя кудрявой проседью с висков, и в полдевятого, облаченный в доспехи из безукоризненно отутюженной рубашки с картонными манжетами и идеально подогнанного по располневшей фигуре финского костюма, сидел с салфеткой на коленях за кухонным столом и энергично уничтожал любимую яичницу с ветчиной.

То, что уничтожал он именно яичницу с ветчиной, не было случайностью. Эта яичница была одной из первых ступенек, ведущих к комфорту, в котором привычно протекала его жизнь: некое подобное блюдо он едал в своей первой заграничной командировке, в Англии, когда еще довольно молодым человеком возглавлял делегацию неискусственных передовиков производства, которых можно было дурить, как детей.

От той поездки остались довольно смутные, но приятные воспоминания: даровые сигареты «Честерфилд», которыми хоть завались, приправленные сувениры, бесплатное кофе «виз милк», которым хоть залейся, и она, ежеутренняя яичница с пережаренными до ломкости, хрустящими на зубах кусочками ветчины, не то «бекон», не то «бэкон».

Этот «бекон-бэкон» так ему понравился, что он решил всегда и везде начинать им свой рабочий день. Вроде бы забавная прихоть, но это для непросвещенных. Нехитрое блюдо олицетворяло респектабельность, стабильность, уверенность в том, что дело пойдет солидно, спокойно, плавно, что завершится насыщенный приятными сюрпризами день уютным сидением перед телевизором, сладким позевыванием, истинно благостными минутами, когда, кажется, день миновал, но день еще идет и, как всегда, сулит новые радости, и что еще не поздно получить подтверждение тому, что Илья Ильич Макрушин — баловень судьбы, везун, вершитель судеб. И неспроста Илья Ильич то и дело переводит! взгляд с экрана на телефон — звонок раздавался именно тогда, когда он этого хотел.

— Илья Ильич, Чечулин беспокоит. Тысячу раз извиняюсь за, так сказать, бесцеремонное вторжение в домашний очаг-с, но на Сулухановскую базу завезли симпатичность из Голландии, оставить вам? Размерчик тот же, пятьдесят восьмой, не пополнили-с?

— Илья Ильич, Жучилин. Книжками по-прежнему интересуетесь? Подписочку на «Советский детектив» оформить? По министерству еще не скоро, а у нас уже есть. Соловьева-историка не желаете? Благодарю за внимание.

— Илюша, эт Саня. Есть возможность шарахнуть в Испанию. Какие деньги, ты что? Еще тебе приплатят. Возглавишь делегацию лучших парикмахеров по обмену опытом с севильскими цирюльниками. Усек? Но и ты про то самое не забудь, что я тебя прошлый раз просил, а ты вроде не успел, теперь у тебя на это три дня будет, и я на тебя твердо рассчитываю.

И на все на это Илья Ильич не говорил ни да, ни нет, а только счастливо, по-детски смеялся, при этом сладко жмурясь и потягиваясь.

Ну а утром, покончив с яичницей, Илья Ильич некоторое время чудодействовал с зеленым чаем, пил его, как положено в лучших восточных домах, из пиалы, наполняя ее на одну треть, как бы доставляя радость хозяйну, то есть Илье Ильичу, почаще подливать живительный напиток лучу ему гостю Илье Ильичу. Ах эти восточные обычаи, высвечивающие лучшие человеческие качества: гостеприимство, порядочность, уважение к друзьям, преданность очагу, и разве не доказательство тому постоянные визитеры — проводники поездов восточных направлений, то и дело робко звонящие в качественно отделанную французским дерматином макрушинскую дверь.

— Мне бы Илью Ильича, — произносят они, как стоворившись, одни и те же слова. — Велено передать лично. Да нет, ничего не надо, все оплачено.

И ставят на порог квартиры большие картонные коробки, от которых исходит тонкий фруктовый аромат.

Потирая крупные ладони, Илья Ильич влюбленно смотрит на этих неуклюжих, с обветренными лицами трудяг.

— Может, чайку? — предлагает он, зная, что от чая откажутся, но сохраняют память о добром, ласковом и таком демократичном большом человеке.

От чая действительно отказывались, выдавая подобие улыбки («Нам этот чай — во!»), и, оправляя мятые форменные тужурки, пялились к лифту.

Коробки Илья Ильич любил раскупоривать сам. Брал шило с плоскогубцами и, ловко размотав мертвые морские узлы, аккуратно наматывал шагат на лыжную палку — и в хорошем хозяйстве ничего не пропадает. Коробки же выносил на лестничную площадку для озабоченных макулатурой пионеров, предварительно содрав с лицевой части свою фамилию и адрес отправителя.

Гвоздики аккуратно складывал в баночку — для каждого размера своя тара — и ставил на определенное место в кладовке. Когда баночки наполнялись, закапывал в них графитного масла из красивой бельгийской масленки в виде чайника.

— А что в стране? — говорил он при этом. — Все ржавеет, все брошено, все кувырком! Только митингуют!

— Куда персики девать-то? — откликнулась жена. — Холодильник забит, балкон завален.

— А возьми-ка тарелку, да не эту, а побольше, положи-ка в нее самых спелых, да не жалея — все равно сгниют, и отнеси-ка соседям напротив, с улыбкой да с поклоном, мол, откушайте плоды далекого юга, присланные нам близкими родственниками!

— А почему — напротив, почему не тем, кто рядом? — вступала в привычный спор жена.

— А потому, Татьяна Лукьяновна, — как всегда, великодушно объяснял Илья Ильич, — что соседи напротив имеют пагубную привычку подсматривать в дверной глазок, в связи с чем являются потенциальными свидетелями наших жизненных ситуаций.

— Вот уж совершенно ты нелогичен, Илья Ильич! — кипятилась жена, которой жалко было спелых персиков, и голос ее вибрировал и срывался, как это часто бывало с ней на собраниях.

Илья Ильич брезгливо опускал уголки губ и укоризненно качал головой, как это он делал на руководящих планерках, когда какой-нибудь безответственный крикун нарушал ход управленческой мысли:

— Ты подумай, Татьяна Лукьяновна, над своими критическими словами, которые, по сути, обращены против тебя самой, подумай, подумай. Ах, не хочешь думать! Ну тогда слушай: после того, как ты оставишь персики у лиц, проживающих напротив, что изменится в их правовом статусе?

— А что изменится? Как были персиками, так и будут.

Тут Илья Ильич все же терял свое особое, выработанное многолетним пребыванием в коридорах власти терпение:

— И как только ты, Татьяна Лукьяновна, позволишь тебя со всей принципиальной прямотой спросить, справляешься со своими обязанностями на посту начспецотделом, где такие вопросы, как я понимаю, составляют весь твой рабочий день? Правовой статус не может быть у персиков, не может!..

Он переводил дух и уже вполне мирно заканчивал:

— Лица, проживающие напротив, по принятии от нас персиков превращаются из свидетелей в... ну, ну? Ой, мне тошно! В соучастников! Ясно?

— А что мы такого сделали? — плаксиво спрашивала жена.

— Да ничего такого! Ни-че-го! — весело кричал Илья Ильич, энергично жонглируя персиками. — Нет никаких свидетелей! Нет! И соучастников тоже нет! Просто лучше, когда люди молчат, чувствуя понятную неловкость, и надо знать, когда и чем затыкать им рот! Вот и угощай их персиками! Да не жалея же! Доброта — она...

— Хуже воровства! — ворчала жена, которая давно разучилась делать подарки и даже прервала по этой причине все родственные связи.

В девять ноль-ноль Илья Ильич выходил из своего подъезда к черной «Волге», в которой ждал его верный молодой друг Серега. Увидев шефа, Серега мгновенно включал зажиганис. Илья Ильич все ждал, когда Серега научится открывать ему дверь, потому что в Англии, он помнил, шоферы даже выходят из машины для производства этой пустяковой, но значительной операции и делают это неспешно, с чопорным полупоклоном и, как видно, с большим удовольствием. Пустяк, а приятно. Но Сережка недогадлив, сукин сын, ну и пусть, он и сам откроет дверцу, это даже хорошо — пусть все видит, какой он простой, доступный, какой демократ, а не надменный аппаратчик, подумаешь, мелочь какая. И открывает, и садится рядом, упругий, румяный, в надежной броне из ратина, фетра и кожи.

— Обедать, как всегда, Иля-Лич?

— Как всегда, родной.

— Потом в дальний главк, Иля-Лич? — В интонации Серегиного голоса проскользнула лукавая нотка, но, разумеется, в допустимых для подчиненного, пусть даже любимца, пределах, так, едва-едва.

Однако же Илья Ильич сразу же среагировал, и даже как-то болезненно:

— Почему ты, родной, про дальний вспомнил?

— Так ведь пятница, Иля-Лич! — конфузливо отвечал Серега, понимая, что сморозил глупость, но не понимая, почему это уже глупость.

Илья Ильич долго не отвечал, все думая про «дальний главк» — крохотную квартирку в доме гостиничного типа с разбитой хозяйшкой, которой он так и не пробил двухкомнатную, и не потому, что не смог, а в силу вновь открывшихся обстоятельств: появления другой разбитой хозяйшки, но уже в готовой двухкомнатной квартире.

— Все, Серега. Амба. Будем ездить теперь в «ближний главк», — вздохнул Илья Ильич, и Серега сочувственно кивнул.

— Экономим на этой ситуации сорок минут, — Илья Ильич улыбнулся, и улыбка его отдалась приятной гримаской на Серегином бледном лице. — Дарю их тебе, родной, от щедрого сердца, калымь на благо семьи и отечества!

— Спасибочки, Иля-Лич, в долгу не останусь.

— Да чего там! Не забудь: с часу до трех — в распоряжении Татьяны Лукьяновны, в семь ноль-ноль — в камеру хранения, возьмешь груз.

Серега кивнул и нажал на акселератор, а Илья Ильич привычно развернул газету: ехать двадцать минут, как раз за это время он успеваст прочесть «Мозаику» и происшествия.

Кабинет встречал его приветливым, тихим уютом. Солнечные лучи лукаво искрились в хрустальных вазах — подарках коллективу за достижения, на столе поджидали его толстые пачки свежих газет и журналов.

— По-чи-таем! — радостно вскрикивал Илья Ильич и, развалясь в кресле, открывал «Литературку», ища судебный очерк.



Нажимал кнопку селектора.

— Варенька, завари, деточка, чашек, цейлонский, который в красной баночке.

Варенька, мощного сложения девушка, с ярко накрашенными щеками, осторожно вносила поднос, ставила на стол, касаясь Ильи Ильича прямыми, как у индианок, синими волосами, и какое-то тревожное озорное чувство овладевало в эти секунды Ильей Ильичом. Надкусывая печенье, он молча глядел, как Варенька идет к дверям: обернется или не обернется? Не обернулась. Цену себе набивает. Обольщает. Ишь, мини какое напялила, бесстыдница. А он не клюнет. Не клюнет! Мало ему забот, чтобы еще и на работе клевать. Клынул как-то раз, так едва отмылся!

Хмурясь, он допил чай и стал смотреть в окно. Как раз напротив его кабинета в соседнем доме был точно такой же кабинет, и за столом сидел точно такой же лысоватый крупный человек и тоже пил чай.

Илье Ильичу стало вдруг скучно, он тяжело вздохнул и вновь уткнулся в «Литературку». Судебного очерка не было. На душе стало совсем тоскливо. Надо бы позвонить кому-нибудь, подумал Илья Ильич. Но кому? И зачем? Просто так звонить он давно разучился, а дела не было.

Дело, однако же, возникло само по себе.

— К вам Кошко из пятого отдела. По вопросу усовершенствования, — Варенька говорила по телефону густым цыганским голосом, как бы задыхаясь от страстей.

Илья Ильич вдруг осклабился и неожиданно для себя сказал:

— Вопрос усовершенствования, деточка, я готовлюсь решать с тобой, а не с Кошко.

Варя хмыкнула.

— А ему скажи, чтоб шел спать в свой отдел.

— Так прямо и сказать?

— Скажи, что некогда мне, что в главк собираюсь...

— А в какой... главк? — Варя или закашлялась, или расхохоталась. Илья Ильич обомлел: неужели Серега язык распустил?

— В ближний! — выпалил он и настороженно ждал реакции.

Варя молчала и не вешала трубку, ждала.

Илья Ильич тоже молчал, пытаясь прокручивать варианты. Но оптимального решения не находилось, и он сердито бросил трубку на рычаг — успеется. Ишь, какая нетерпеливая! А Серега не может, нет, не может, да и какой ему смысл? А почему не может, вполне может. Но, конечно, не может, наверняка может. Но зачем ему разглашать, а почему бы и нет?..

Чай он давно выпил, но звать Варю унести поднос не спешил, хотелось продлить сладкую неопределенность. А пока все же решил обзвонить клиентуру. Начал с жены, с которой подробно обговорил план ближайшего отдыха, потом с дочерью — она вышла замуж

и жила у мужа — по поводу вступления в кооператив, затем связался с торговой базой насчет стройматериалов для ремонта дачи.

Дверь кабинета вдруг приоткрылась, и на пороге показалась Варя. — Я занят, попозже, — холодно сказал Илья Ильич. — У меня важный разговор.

Но Варя не уходила.

— Что такое?! — взорвался Илья Ильич. — Потом уберете!

Варя саркастически усмехнулась, и Илья Ильич почувствовал неладное. Что другое, а опасность он научился чувствовать сразу. Привычно закололо в коленках.

— Сам вызывает, — сказала Варя. — Прозвониться не мог. Велел — немедленно.

Илья Ильич вышел в коридор и сразу все понял. Сотрудники, бежавшие куда-то, словно на водопой, его подчиненные, которых он сегодня еще не видел, словно сговорившись, не замечали Илью Ильича, как будто и не было в коридоре с низенькими сводами грузной фигуры, которую всегда обходили с почтением, а теперь готовы были пробежать прямо сквозь нее.

Однако страх уже прошел, и Илья Ильич, сжав кулаки, не спеша направился к шефу: и не такое было, а выпарапывались, ерунда какая-то... Шаг стал тверже, взгляд — суровей. Посмотрим еще, чья правда крепче!

АНАТОМИЧЕСКИЙ ЗАЛ

РУБАКА-ПАРЕНЬ

Неизвестно, как бы сложилась жизнь у Романа Шмякина, не попади он однажды на практику в мясной магазин и не окажись один на один с недевром в виде Семена Семеныча Гирича, стройного мужчины с тараканьими усиками, которые во времена ретро назывались злодейскими. Руки недевра, тонкие, трепещущие, словно изваянные резцом Мастера, в стремительном любвеобильном порыве пеленали наждачной оберточной бумагой нежную вырезку и небрежно бросали в раскрытые рты покупателей сумок:

— Пра-ашу!

Это был триумф чародейства, поэзия добычи, романтика дерзости.

— Прилавок пока не доверю. — даря трешку, сурово сказал Семен Семеныч размякшему Ромке. — стой вот тут и наблюдай.

Через неделю Семен Семеныч позволил завернуть филе и вновь получить трешку. На этот раз от покупателя.

К концу практики наставник произнес яркую нанутственную речь:

— Мы рады, что ты правильно понял задачи, которые ставит перед продавцом сама жизнь. По окончании техникума пра-ашу к нашему шашу, место сохраним, заявочку оформим. А пока — премия за отличную практику.

— Да как же мне отблагодарить вас, дядя Сёма? — растерянно забубнил Ромка, принимая десять мятых трешек.

— Отблагодаришь, куда ж ты денешься! Теперь мы как альпинисты — в одной связке! — и захохотал, как зарыдал.

Через год подросток и возмужавший Рома стоял за прилавком, а дядя Сёма, исполняя обязанности суфлера, расположился поодаль, живо-

писно опершись на топор. И пока наставник подсказывает заветные слова, после которых трешки сами собой вылетают из карманов и сумок, высветит некоторые темные углы его провилого. Дело в том, что Семен Семеныч не просто какой-нибудь там мясник-рубака-парень с тремя извилинами. Во время оно Сёма Гирич был веселым студентом филфака, пытался даже что-то сочинять, и это, как мы увидим, оставило неизгладимый след. Веселье, однако, распространялось больше на ночные посиделки в окружении осушенных бутылок. Потом посиделки сами по себе вытеснили лекции, и Сёма, мучимый жаждой и отсутствием средств, окончательно прибил к гастроному. Сначала грузчиком, потом учеником продавца. В редкие благодущные минуты Семен Семеныча тянуло к сочинительству, и в результате напряженной умственной работы он вывел для себя и близких людей несколько философских заповедей.

Главная заповедь гласила: «Бери наличными только от проверенных старых клиентов. От посторонних же, особенно от тех, кто липнет и упрасивает, денег ни-ни! Направлять провокаторов в кассу. Вопросы приобретения новой клиентуры решаются на основе личного знания психологии, гипнотических навыков и собственного активного биополя»...

По окончании работы дядя Сёма выдавал Ромке положенный ему гонорар — все ту же мятую трешку.

— Погоди чуток, освоишь все премудрости, заживешь, как нефтяной магнат!

Вскоре премудрости были освоены, и Рома купил себе велосипед. Потом, как образцовый сын, сделал своей маме замечательный подарок: открыл на ее имя счет в сбербанке, первый счет за всю нелегкую трудовую жизнь мамы, которой не суждено будет узнать, что радость была доставлена ей другой заповедью учителя: «Сбережения храни так, чтобы они были не твои, но были твои».

А через пару лет, как раз в конце этой зимы, Роман Борисович Шмякин, элегантный и стройный, в дорогой фракной паре, притормозил свою «девятку», обутую в японскую резину и записанную на маму, у атральных касс, где стоянка личного транспорта запрещена.

Внушительный и деловой, с иностранной «дипломаткой» в сильной руке, на которой поблескивал кастетообразный золотой перстень, он важно подошел к кассиру и, попросив прощения у безнадежной очереди, тепло улыбнулся:

— Я из МИДа, вам звонили, на «Поминальную молитву», со Стекловым. Абдулов? Давайте. Еще на «Наш Декамерон», если только с Догилевой. Очень хорошо. Довесьте еще «Павла Первого», надеюсь, Олега Борисова не дублируют? Желательно первые ряды, ну, хотя бы два или три. А вот на «Пикант-шоу» — только первый.

Потом он засел в гастроном и, расцеловавшись с таким же элегантным, во фракной паре, но с серебряным кастетообразным перстнем, мо-



лодым человеком, получил сложный саламисто-икорно-бальчно-трюфельный заказ.

Оставалось немного времени, и он заскочил в обувной магазин, где в кабинете директора ожидали его комбинированные свержштиблеты.

В машине он переобулся и, с удовольствием рассматривая свое слегка искаженное шнурками отражение в зеркальных носках, в который раз подумал: а что такое нефтяной магнат? Так, жалкий, оплывший от жира старикашка в провинциальных панталонах. Скучная фантазия убогого дяди Сёмы, так и не поднявшегося выше своего прилавка! Надо бы навесить бедолагу, принести передачу...

В сердце его шевельнулось жалостливое презрение: бедный дядя Сёма, отгородившийся мясными тушами от большого света! А вход в этот свет был рядом, через директорскую ложу, билет в которую тоже продавался, и к высоким кассирам подход имелся. И купить такой билет дяде Сёме было под силу — не догадался, самоуспокоился на кубышках, которые до одной изъяли, выскребли из-под подоконника, выкопали из-под яблони, и сидит теперь учитель голый, нищий, обесцельный и насквозь проконфискованный. А директора крупнейшего университета — кто же его так просто, под белые руки, рано утром из собственной квартиры? У директора броня, задушевные друзья, приветливые аппаратчики, обаятельные поклонники, готовые в огонь и воду, верная охрана из экс-чемпионов и даже один благожелатель, проживающий на Олимпе.

У директора мускулистая молодость, блестящая карьера (в торг! в министерство!), ослепительно красивая жизнь и замечательная невеста!

И покатил за Наташей в ее дурацкий, никому не нужный институт.

Наташа, провожаемая завистливыми взглядами бескорыстных подруг, привычно впорхнула в салон, удобно устроилась на сиденье, покрытом заморской овчиной, на ощупь извлекла из горки кассет свою любимую, не глядя, сунула в магнитофон, и тотчас же раздался аплодисменты, после чего хрипчатый баритон проинформировал: «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла!»

Роман Борисович вытащил золотистую пачку «Пэл Мэл», так гармонизовавшую с перстнем, небрежно надорвал, точным щелчком выбил длинную дамскую сигарету:

— Пра-ашу!

Предупредительно поднес зажигалку-компьютер, реагирующую на человеческий голос. Окутавшись дымом, Наташа аккуратно уложила прическу на его могучее фрачное плечо:

— С тобой так спокойно, Ромочка, стабильно! Я надеваю прозрачную фату, звучит марш Мендельсона, и под руку со знаменитым дипломатом вступаю в новую жизнь!

— Ой, как красиво говоришь! — завистливо пробормотал Роман Борисович. — И как это вы все — так складно да ладно? Тут одна тоже

скандал в очереди устроила, колготки ей не достались, дак такую речугу закатила, как по книге, все с выкрутасами, с фантазией, а когда милиция у нее документ потребовала, оказалось — лаборантиска с окладом в сто рэ. Ладно. Так, значит, ты Мендельсона тоже знаешь?

— Не очень. Я даже не в курсе, что он еще написал?

— Уж он-то понаписал! Попросили его подождать, мол, все у тебя будет, а он ни в какую, строчил день и ночь. Во все инстанции. А теперь сам с кайлом на плече марширует!

— А я думала, он давно умер...

— Ха! Этот всех нас переживет! Ну, ладушки, пяс заедем за фатой, потом прямиком во дворец, оттуда в ресторан, там заказано, расписано, оплачено. Программа ясна?

— Какой ты у меня... комфортный! — восхищенно прошептала Наташа. — Комфортный Роман! У нас с тобой комфортный роман! Какая прелесть!

— Ты моя прелесть!

— Нет ты!

— Ты! Ты! Ты!

Увы, автор должен прервать этот взаимовосторженный диалог, потому что уже знает: фата так и останется висеть в одиноком девичьем шкафу, и никогда не прозвучит замечательный марш Мендельсона, и сверкающий банкетный зал не наполнится счастливыми голосами. Автор знает, что жизнь, как опытный драматург, уже приготовила несожиданную развязку комфортного романа лжедипломата и наивной студентки и нацеливает внимание читателя на другую машину, строгую черную «Волгу», которая остановилась перед «девяткой».

— Вот он, — бесстрастно говорит водитель «Волги», молодой человек с суровыми, светящимися возмездием глазами.

Его спутники, молодцеватые, подтянутые, как памирские барсы, в мгновение ока распахнули дверцы «девятки» и изъяли ключ зажигания.

— Гражданин Шмякин, — голосом майора Томина говорит другой майор, — вы арестованы.

Через минуту все кончено. Комфортный Роман, воздев в мольбе руки, украшенные наручниками, переместился в «Волгу», перепуганная Наташа отпущена с обязательством явиться в такой-то кабинет, за руль «девятки» сел один из барсов — и всё умчалось в известном направлении.

А след от дефицитной экспериментальной резины, которая доставалась путем многоступенчатых махинаций, мигом затерли вечно спешащие веселье студенческие ноги.

Потом, правда, произошла совершенно необъяснимая и совсем уже неправдоподобная вещь: след этот на другой день проявился сам по себе, а затем или под влиянием солнечных лучей, или по каким-то другим причинам налился черной краской, разлился, заматерел и вконец испортил асфальтовую панораму, из-за чего пришлось вызывать дорожных рабочих и обновлять покрытие.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...

«КОРОЛЕВЕ МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ...»

Виктор Ефимович Ардов по своей популярности и количеству друзей мог соперничать разве только с дядей Гиляем.

Загорелое тонкое лицо, увенчанное ассирийской бородкой, озорные и очень добрые глаза... Ах, какие люди были в «Крокодиле», какие люди! Надо же, сам Ардов запросто приходил в редакцию, и всегда при нем была холщовая сумка, а в ней горячие баранки. Где он их доставал, как ухитрялся приносить тепло русской печи в отшлифованный острогами Продолговатый зал редакции? Никто не знал, а теперь и не узнает.

Он приходил всегда эффектно, всегда чуть-чуть попозже, когда все уже сидели за столом, на сцене, в зале, когда уже шло действие, — и вдруг в дверях Ардов. Достает из сумки баранки, раздает голодным счастливым, балагурит, острит, импровизирует.

На фронте его звали Веселый Майор. В мирное время он был просто веселым Ардовым.

Я самолично видел, как на Чистых Прудах внезапно остановился трамвай и водитель, кудрявая девица с пронзительным голоском, закрычала на всю улицу:

— Товарищ Ардов! Товарищ Ардов! Садитесь!!

А мы, встретившись случайно в редакции «Вечерки», которая в то время находилась близ Чистых Прудов, решили пройти пешком. И вот — вынужденная посадка.

Девушка весело смотрела на Ардова, и пассажиры высунулись из окон — тоже смотрели. Никто не роптал. Ардов поставил ногу на ступеньку, положил на колено портфель, достал из него тоненькую книжечку из серии «Библиотека Крокодила».



— Так...— сказал он громко.— Сейчас мы посвятим это произведение...— он вытащил ручку и стал писать,— королеве... московского... трамвая... от короля... ммм... от пикового короля, а? Как тебя, киска, по отчеству?

— Да Вера я!

— То, что ты Вера, я догадался. Вере... Гм... тут ты сама прочтешь... с надеждой на любовь... Только так!

Виктор Ефимович протянул книжку растерявшейся Вере.

— Если завтра в это же время будешь проезжать в Сокольниках, подарю другую, потолще.

— Если вы серьезно, товарищ Ардов, то я попрошусь на тот маршрут...

Трамвай, наконец, захохотал.

— А мне, товарищ Ардов, книжку?

— И я хочу!

— Сначала мне — я ближе сижу!

Он шел вдоль трамвая и раздавал свои книжки, веселый майор запаса, автор и исполнитель стихийно возникшего уличного представления в духе старинных балаганов. Мне казалось, книжки должны были иссякнуть, но портфель его был бездонным. За трамваем остановился другой трамвай, и там его кто-то узнал, и опять книжки пошли в ход.

Это был триумф сатирика, будничных триумф без аплодисментов и газетных рецензий.

Это был крохотный эпизод из жизни всеобщего любимца.

Когда в «Библиотеке Крокодила» выходила его очередная книжка, он заказывал заведующей редакции Марии Александровне Соломатиной пять тысяч экземпляров, и единственный человек, Мария Александровна, всегда серьезно спрашивала: не мало ли? А незнающие подтрунивали: эка закупает, да куда ему столько?!

А ему и этих пяти тысяч не доставало.

БЕДНЫЙ СТАРИЧОК

И еще про Ардова.

В доме на Большой Ордынке, где жил Виктор Ефимович, в доме, который вошел в историю как московский дом Анны Ахматовой (она часто и подолгу жила у Ардовых), размещался на первом этаже магазин. Сразу же уточним: деталь эта к творчеству Анны Андреевны никакого отношения не имеет. Просто кто-то из домашних попросил однажды Виктора Ефимовича зайти за помидорами.

Великие мистификаторы, а Ардов был одним из таких, смотрят на мир совсем иными глазами, и тогда, когда каждый из нас взял бы хозяйственную сумку и уныло поплелся выстаивать в очереди, Виктор

Ефимович снял телефонную трубку, узнал в справочной номер магазина и соединился с заведующим.

— В чем дело? — послышалось в трубке недовольное ворчание от-ветственного овощного лица, которое отвлекли от любимого дела.

— Гражданин начальник? — переспросил Ардов неожиданно дребезжащим хрипатым голосом. — Премного извиняюсь, милейший, что нарушил ваш служебный покой, с вами говорит старичок из вашего дома, скажу тут, за стеной, едва хожу. но пуще всех удовольствий люблю помидоры!

— Что такое?! — изумилось лицо.

— Да я не к тому, чтобы обидеть покупателя или вас лично, вы меня послушайте, это очень важно: я плохенькие помидоры люблю. самые которые с плесенью, червоточинной, кислые, которые, извиняюсь, на выброс. Убедительно прошу соскрести, слить, подобрать с пола килограммчиков пять, я за них заплачу как за первый сорт, и вам облегчение, и мне радость.

— Хм!.. — раздалось в трубке неопределенное.

— Вы мою квартирку карандашиком пометьте, так, на газетке послушайте, это очень важно: я плохенькие помидоры люблю. самые которые с плесенью, червоточинной, кислые, которые, извиняюсь, на выброс. Убедительно прошу соскрести, слить, подобрать с пола килограммчиков пять, я за них заплачу как за первый сорт, и вам облегчение, и мне радость.

— Понял, — грустно сказал заведующий.

Ардов повесил трубку и с видом премьеры, блистательно закончившего главный монолог, картинно поклонился, а многочисленные гости (их всегда тут было великое множество) разразились хохотом.

Но в дверь позвонили. На пороге стояла дорогая женщина в белом халате и держала в руках громадный таз с отменными помидорами.

— Где тут бедный старичок? — строго сказала она. — Заведующий просил, чтоб денег не давал. Это подарок. Когда чего надо, пусть звонит. В беде не оставим.

— От кого подарок? — весело спросил кто-то.

— От коллектива нашего магазина.

Уходя, женщина обернулась и покачала головой:

— Смотрю, много вас тут, все одеты хорошо, веселые, а о старичке думать не хотите!

Рассказывают, что Виктор Ефимович впервые как будто даже огорчился своему розыгрышу, хотя вида постарался не показать.

ЧЕМОДАН С ПЛАТИНОЙ

Самым богатым сатириком на земле был спецкор «Крокодила» Андрей Никольский. Содержимое чемодана, с которым он вернулся из командировки по Сибири, составляло несколько миллионов рублей, причем рубли оценивались не в золоте, а в платине.

Он приехал в редакцию прямо с Казанского вокзала, поставил неказистый чемодан под свой стол и сказал:

— Будете уходить, закройте дверь на всякий случай. А я — в буфет, за сигаретами.

На дворе был конец семидесятых, время крепчайшего застоя, когда в буфетах продавались любые сигареты, а на свалках валялась платина. Но Андрей Никольский мог бы и не ходить в буфет, а просто купить себе пару табачных фабрик, если бы дело было не в Москве, а в каком-нибудь штате Мэн.

Но дело было в Москве, и только здесь можно было найти любимую «Приму», только здесь, пуская дым колечками, можно было рассказать коллегам о том, что случилось с тобой, рассказать без боязни, что кто-то сочтет все это бредом.

В США бы не поверили ни одному его слову.

И в Англии — тоже.

Во Франции его бы признали бездарным юмористом.

Но он действительно был на одном из громадных сибирских предприятий, производящих термостаты. В термостатах использовалась платиновая проволока. Бракованная продукция, естественно, выбрасывалась на свалку. И, что было еще более естественно, вместе с платиной.

Узнав, что он из «Крокодила», дирекция на всякий случай отказалась выдать пропуск на территорию завода.

Андрей проник на объект через дыру в заборе, без труда разыскал свалку, где и нашел в большом количестве бесценный мусор.

Два часа он неистово выдирали платину из металлических корпусов, удивляясь отсутствию конкурирующих преступных кланов и бесстрашных гангстеров-одиночек. Среди миллионов стояла милая тишина, трещали в жухлой крапиве малоохотные кузнечики, посвистывали крыльями одинокие вороны, предпочитая платине пищевые отходы, припекало скромное сибирское солнышко, и Андрей, сняв рубашку, даже позаторал немного.

Вышел он, с трудом волоча чемодан, все в ту же дыру, купил билет в плацкартный вагон, забросил чемодан на верхнюю полку и, прежде чем отлучиться в ресторан, бросал небрежно попутчикам:

— Там, наверно, у меня чемоданчик с платиной, так вы уж поглядите за ним.

— Поглядим, — весело откликнулись попутчики, — если нам отсыпешь!

— А как отсыпать, если там одни слитки? — возражал Андрей, но

соседи уже молчали, уткнувшись в кроссворды и карты. Игра в платину им уже наскучила.

Потом был фельетон, был областной скандал с увольнением виновных и наказанием безумного руководства, которое, и само было изумлено платиновыми событиями.

Драгоценное содержимое чемодана было немедленно сдано в закрома государства, где растворилось в потоке всеобщего безобразия и разгильдяйства.

Но целую неделю, с момента выхода из дыры в заборе и до своего появления в редакции, Андрей Владимирович Никольский, спецкор «Крокодила», был самым богатым сатириком на земле.

Жаль, не догадались подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса — не то время было...

ПИСЬМО НЕДРУГУ

Мануил Григорьевич Семенов был одним из самых замечательных советских журналистов, и, я убежден, придет время, — и историки подробно осветят его мученическую жизнь на посту главного редактора «Крокодила», хотя трудности у историков будут немалые: Мануил Григорьевич был крайне скуп на рассказы о себе.

Он получал выговор за выговором, а иногда — непосредственно от Секретариата ЦК КПСС, и число взысканий перевалило за полтора десятка, а мы, его подчиненные, ничего подчас об этом не знали, просто все чаще видели его молчаливым и насупленным.

Он все брал на себя, никого не подставляя, никого не казня и никому не жалуясь.

В тяжелейшие времена застоя, на которые пала его редакторская доля (потом он скажет: сатирик — это участь), он отчаянно боролся за то, чтобы стиснутый и спеленутый «Крокодил» был флагом сатиры, и ему это удавалось.

Уход Семенова в середине семидесятых был непонятен и загадочен. Случилось это внезапно, без всякой предварительной подготовки, среди начатых и не завершенных им дел. Тогдашнее руководство отдела пронаганды торжественно объявило коллективу, что причина ухода — только личное желание, и были устроены торжественные проводы, на которых Мануил Григорьевич печально сказал, что вырастил он дерево, которое дало обильные плоды, а теперь пора и отдохнуть в тени этого дерева.

Он повторил эту фразу несколько раз в течение вечера, и Борис Даниеля, самый романтический спецкор «Крокодила», вдруг повернулся ко мне и сказал:

— Ты все слышал? Он же дает нам понять, что его ушли!

Увы, у меня нет никаких доказательств для такого вывода, но незадолго до своего ухода Мануил Григорьевич дал мне, случайно оказавшемуся у него в кабинете, прочесть письмо, адресованное печальной памяти Медунову.

Я не знаю, почему он вдруг протянул мне письмо. Может, это было молчаливое уведомление: если что, знай... А может, естественное желание сатирика, чтобы творчество его было оценено коллегой-профессионалом, кто знает!

Это было не просто письмо, а фельетон высшего крокодильского порядка. В ответе Медунову на его протест по поводу выступления журнала о краснодарской вотчине Мануил Григорьевич с таким сарказмом, с таким непередаваемым презрением и убийственной логикой доказывал убогость и ничтожество этого любимца Леонида Ильича, что мне стало тревожно за автора.

Поняв это, Мануил Григорьевич слегка пожал плечами:

— А что делать, надо же кому-нибудь...

Где это письмо? В каких архивах, в каких панках осело? Я верю, настанет день, и в собрании сочинений Мануила Григорьевича Семенова, а он достоин такого собрания, письмо это все же займет свое место — в разделе «Переписка с недругами»...

«ВИЛЫ»

После долгого отсутствия в редакцию заглянул Валентин Катаев.

Он прошел по кабинетам, знакомясь с «племенем младым и незнакомым», потом страстно и долго рассказывал о старом «Крокодиле», о том, как возникли «Двенадцать стульев», о белоснежных манжетах Михаила Булгакова, и весь день, приостановив производственный процесс, редакция, оцепенев, слушала маэстро. Потом кое-что из того, что он рассказал, появилось в повести «Алмазный мой венец», но рассказы в редакции были острее и соленей.

Он подписал мне свою книжку, переспросив фамилию.

— А кем вы здесь служите?

— Заведую отделом культуры.

— Тогда у меня к вам убедительная просьба: пришлите мне письмо.

— Какое?

— Любое. Я хочу написать «Вилы».

Я обомлел: живой классик, корифей «Крокодила» и — «Вилы»! «Вилы» — это крохотная заметка по письму, такими заметками пробавляются начинающие.

— Из вагона что-то украли, там часто крадут. Я вижу, как это можно сделать, — объяснял мне Валентин Петрович. — Понимаете, вижу. Уди-

вительно доходчивый жанр, но трудный, трудный, и тут надо проявить находчивость. Да необязательно про железную дорогу, любое письмо.

Потом была «фотография на память», которую сделал Марк Виленский случайно оказавшимся в портфеле аппаратом, шумные проводы со взаимными пожеланиями о новых встречах.

И в суете и грохоте крокодильских буден забылось пожелание Валентина Петровича, пожелание, которое я по неопытности своей и легкомыслию принял за необязательный светский разговор с крокодильской направленностью, за некое подобие кокетства мэтра перед миллиметром.

Я не нашел для него письма, и постепенно встреча эта переместилась на полки воспоминаний.

А через несколько лет в кабинете моем раздался звонок:

— Здравствуйте. У вас редкая фамилия, и поэтому я легко вычислил вас по списку редколлегии. Так как насчет письма?

Я вновь обомлел и уж не помню, что говорил, как оправдывался, да и оправдался ли.

— Ладно-ладно, я знаю вашу занятость. Вы все же пришлите при случае.

Увы, увы, увы. Случая больше не представилось...

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДЕБЮТ

Сейчас, когда минуло с той поры двадцать лет, я часто думаю: а могло ли вообще быть такое? Вы открываете дверь своей квартиры, а на пороге сам Владимир Высоцкий, да еще с гитарой, той самой, знаменитой. Молодой, вдохновенный, он изучающе, чуть настороженно смотрит на вас, протягивает руку:

— Володя.

И вот он сидит рядом с вами, и вы (не он, а вы, вы!) рассказываете ему что-то занятное, а он, тихий и задумчивый, внемлет и даже смеется.

Теперь кажется: это привиделось, а это было...

Так случилось, что у меня и жены возникли творческие контакты с Одесской киностудией, на которой снимался Владимир Высоцкий, и когда главный редактор Юрий Бараневич узнал, что в нашем доме культ Высоцкого и все домашние бредят его песнями, он сказал:

— Мы придем к вам в гости.

Володя и тогда, тридцатидвухлетний, был давно знаменит. Помнится, на Командорах, на самом краю земли, я слышал, как день и ночь гоняли аборигены ленты с его записями, и на Чукотке обжигающие ветры тундры доносили его «Скалолазку».

Итак, Бараневич сдержал свое слово, Высоцкий у нас в гостях, и, пока готовится стол, я занимаю его рассказами о сексуальной революции

в Швеции, откуда только что вернулся. Все это было тогда для нас в новинку, все изумляло, возмущало, забавляло, а когда Володя услышал, как какие-то рабочие украдкой измерили рулеткой зады стилизованных красавиц на одном из полотен выставки «СЕКСПО-70», он захохотал заливицею и искренне.

Режиссер Юнгвальд-Хилькевич, который пришел вместе с Володей (они подружились во время съемок «Опасных гастролей»), находился, для смеха, в образе жуткого гангстера и то и дело проигрывал сцены «ограбления» квартиры: хищной рукой тянулся к шкапулке с бижутерией, вываливая на ладонь стекляшки, на что Володя то и дело деликатно говорил ему:

— Не надо, ну, не надо. Положи на место. Здесь этого не надо делать.

От шуток и курьезов неожиданно перешли к серьезным темам, вспомнили о детстве, и оказалось, что, хотя я и постарше, у нас много похожего: оба гоняли по улицам на «гагах» и снегурках за машинами, цепляясь крючками, а уцепившись, победно неслись по городу, не боясь никакого ГАИ, потому что ничего похожего на ГАИ тогда и в помине не было. никто не мешал нехитрым ребячьим развлечениям послевоенных лет...

И тут я сказал:

— Напишите, Володя, что-нибудь для «Крокодила».

— А вы напечатаете? — быстро спросил он.

Я замялся на миг:

— Пробьем!

Володя грустно улыбнулся:

— Есть у меня повесть для детишков (он так и сказал — «детишков»). — Ал. Х.), там много смешного, наверное, для вас подойдет. Спасибо. Подумаю, как и что.

— Вы бы зашли к нам в редакцию, а? Я вас со всеми познакомлю, у нас доброжелательные люди, смелый редактор...

— У вас там кабинет?

Слово «кибинет» он произнес с характерной интонацией и лукаво улыбнулся. (Я потом слышал это слово, произнесенное с точно такой же интонацией, из уст майора Жеглова.)

Только по прошествии лет я понял эту улыбку: он-то знал, что вряд ли напечатает, чувствовал, что хоть и говорю я от имени журнала, занимая там «кибинет», но не по силам ни мне, ни «смелому редактору» пробить стену, отделяющую его от прессы той поры. Ох, не пробить, думал он, ну да ладно, разберемся.

Когда сели за стол, взяла досада: зачем, для чего «скатерть белая залита вином», все вокруг заставлено бутылками с водкой на рябине? Он же не пьет, завязал, а раз в завязке, то смотреть на водку — мучительно! Как это бестактно, как неуважительно!

Но Володя, совершенно не среагировав на бутылки, с колоссальным

аппетитом уничтожал соленые грузди и медвежатину с моченой брусникой. Понимая, что еда эта с позиций сегодняшнего дня фантастическая, должен объяснить, что тогда все было просто: бруснику и грузди мы собрали на Ладого и Онеге, а медвежатину добыли на Сретенке, в магазине «Дары природы», безо всякой очереди и за умеренную цену.

Народу в комнате набилось невероятно — позвонили всем друзьям: скорей к нам, у нас Высоцкий, и все приехали с детьми, вот что интересно. Стульев не хватило, соорудили скамьи, и скамеек оказалось мало, сели на книги, на ящики, благо во дворе овощной магазин. Взрослые сидели, а дети стояли у стен, тесно прижавшись друг к другу (так лучше видно), серьезные, притихшие, отказавшиеся от сладкого.

Володя извлек из кармана небольшой, сложенный вчетверо, лист бумаги, развернул.

— Я вот тут ночью написал. Под впечатлением. Был у Фурцевой. Беседа текла странноватая. Я об этом и написал. В общем, «Бег иноходца». Вы — первые слушатели.

Когда он закончил, все молчали, потрясенные (другого слова не подберу), а наш двенадцатилетний сын стоял бледный, едва ли не в обмороке.

— Вот такая песня, — сказал Володя, и глаза его потеплели. — Понравилась, да?

На следующий день я позвонил ему и напомнил про повесть.

— У вас был чудесный вечер, — сказал Володя. — Я и Марине рассказал. Она рядом. Вам от нее привет. Мы обязательно к вам придем.

О повести ни слова.

Вскоре он позвонил и пригласил на спектакль «Добрый человек из Сезуанна»:

— Ввели на роль летчика. Билеты я вынесу.

У театра была привычная толпа, когда мы с женой подошли к условленному месту, и вдруг возник он, ослепительный Володя Высоцкий, в голубом джинсовом костюме. На несколько минут мы невольно приобшились к его славе, став объектом восторженно-нервного внимания.

Этот миг запечатлелся в моей памяти яркой цветной фотографией: Володя на фоне старых московских домов задумчиво облокотился на железные ограждения...

— Меня ведь ни разу еще не печатали... Так, может, «Крокодил»? А что? Ладно, не будем о делах. После спектакля — я у вас.

Но в середине спектакля у него поднялась температура, обложило горло. Однако свою кульминационную песню «День святого «Никогда» он исполнил на таком высочайшем эмоциональном накале, что буквально перекрыл ею этот прекрасный спектакль.

Когда он вышел на улицу, у него был просто измученный вид.

— Чудом доиграл. Ничего не заметили? Слава Богу. Вам действи-

тельно понравилось? Извините, поеду к маме. Когда заболеваю, всегда еду к ней. Она мастерица лечить.

Володя так и не принес в «Крокодил» обещанную повесть: болезнь, срочные дела, сутки, переполненные работой, гастроли, концерты, съемки...

Через несколько дней после нашей несостоявшейся встречи — свадьба с Мариной, и новые заботы, уже семейные.

Повесть, как видно, отодвинулась на потом, и я, каюсь, каюсь, каюсь, не проявил настойчивости, надеясь, что все само собой образуется, что знакомство будет продолжаться вечно.

А ведь «Крокодил» мог бы быть Володиным дебютом.

Мог бы...

ЛИРИКА САТИРИКА

МОСКОВСКИЕ КОМАНДОРЫ

Наш катер проваливается в водяные овраги, тяжело взбирается на стекловидные холмы, его старенькое залатанное тело содрогается от немашинных усилий, и мы все дальше и дальше уходим от Москвы. Вот еще на один Тверской бульвар удлинился наш путь, а вот — на целый Ленинский проспект... Где ты, Москва, в которой так много слилось и ото-звалось? Где эта улица, где этот дом?

Если засечь наши координаты и провести ногтем от невидимой миру точки до Москвы, то ноготь болезненно нагреется, а каково же лететь, ждать, ехать, ждать, идти, ждать, плыть, ждать, а потом все наоборот?

Мы идем на остров Медный, идем без лоцманской карты, и не учтенные никем рифы счастливо пронесутся мимо; для наших близких, узнай они об этом, такой вояж — безумная затея, для командорских жителей — обыденная поездка к соседям.

На океан опускается беспокойная беззвездная ночь, и вскоре крохотный лучик от носового фонаря ломается о базальтовую тьму, и мы вроде бы в черной дыре и как бы зависли над бездной.

Ледяной соленый ветер ревет, как взбесившийся секач, а пулеметные очереди дождевых капель разукрашивают лицо синяками.

Зеленый, синий, черный, белый, кварный, могучий, капризный океан. Беспокойный Тихий океан.

Серо-голубыми китами плывут по тундре тучи, задевая за крыши домов, по-хозяйски укладываясь меж сопок.

И снежные бабы, и мшистые скалы, и дождь, и комары... Все вместе, все сразу...

Грохает тысячетонным кулаком о вязкий береговой песок при-

бой — гу-уа! — катятся каменные глыбы на белую скатерть слежавшегося снега. Он не тает, этот командорский снег, он лежит здесь от зимы до зимы, и ни дождь, ни прибой, ни кратковременное солнце — ничто не может растопить его.

Конец лета — начало осени.

Самый обычный день.

А я живу близ Никитских ворот, в переулке с легкомысленным названием Скатертный. Когда-то здесь, говорят, жили умелые женщины, которые ткали и вышивали скатерти, но время сурово обошлось с ними, передав полномочия умелиц фабрикам и комбинатам. Только вот с названием переулки ничего не могло поделать.

Я родился и вырос в доме, который серой скалой возвышается в ряду коренастых каменных монстров. Но это только казалось, что дом — скала. Дом был живой, он ласково щурился на меня зеркальными глазами венецианских окон в солнечные дни и согревал своим дыханием в лю-тый мороз.

О, это было особое дыхание, словно дом только что накурился капитанского табака, отведал борща с молодым чесноком и корицей, надушился «Шипром», облачился в старенький коверкотовый костюм, пересыпанный нафталином... Если добавить еще слабый запах столярного клея, приправленный подвально-кошачьей сыростью, — это и будет то самое загадочное в своем постоянстве дыхание домов-стариков, которое сразу чувствуешь, стоит только войти в подъезд.

Сколько себя помню, дом никогда не менялся, хотя время от времени кто-то незаметно подкрашивал его все той же мрачно-серой краской, словно исполняя странное завещание бывших домовладельцев.

Сколько себя помню, мне всегда казалось, что живу я в этом доме один — никогда и нигде не видел своих соседей. И всегда, когда бы я ни возвращался, дом встречал меня гулкой тишиной пятиметровых сводов подъезда.

Непонятно отчего, но график моего прихода и ухода никогда не совпадал с графиком соседей.

Иногда, поднимаясь на свой второй этаж, я слышал за плотными дверями квартиры напротив вроде бы веселую музыку и дружные восклицания: похоже было, что кто-то женился или отмечал юбилей. Иногда мне казалось, что где-то как бы билась посуда и раздавались сердитые голоса. Как видно, кто-то разводился или выяснял отношения.

Мне всегда казалось, что дом появился вместе со мной, но однажды в какой-то старой хронике я неожиданно увидел свой переулочек, да так отчетливо, словно, идя по обыкновению домой, вдруг вышел на него со стороны Арбата. Все было так, как и теперь, кроме брусчатки, покрытой лаком прошедшего дождика, да кадки с пальмой как раз возле моего подъезда. И еще рядом с подъездом стояла толпа незнакомцев в смешных котелках. Все отчаянно двигались, как это бывает в немых фильмах,

и раскрывали рты в беззвучной песне, кто-то откуда-то стрелял, потому что с дома белыми струйками падала штукатурка.

После этого, осмотрев внимательно стены дома, я обнаружил на них какие-то вмятины, похоже — от осколков и пуль, и убедился, что дом снисходительно терпит новых жильцов, а вообще-то давно живет самостоятельной, скрытой от моих глаз жизнью.

И где бы я ни был, дом, как опытный и добрый волшебник, всегда напоминал о себе. Вот и в этой далекой чукотской гостинице, на краю земли, под свист свирепого августовского ветра я вдруг увидел на стене отошедшую полосу обоев, а под ней газету с краткой надписью: «Москва, Скатертный переулок».

А вы были на Чукотке, мой земляк, мой сосед? Знаете ли вы чукотское «ну»? Нет?

— Гывылькут, сегодня погода опять нелетная?

— Ну-у!..

— Самолет, то есть я хотел сказать борт, будет?

— Ну-у!

«Ну» — это и «да», и «нет», и «отчего же», и «зачем»... «Ну» — это тысяча выражений и оттенков плюс самая разнообразная мимика — вот что такое чукотское «ну».

А услышал я впервые знаменитое «ну» именно в этой крохотной узленской гостинице с потрескавшимися обоями, куда прибыл, сменив кобальт на самолет, а потом самолет на вездеход.

Кстати, знаете ли вы, что такое чукотский вездеход? Нет?

Чукотский вездеход — это такая качка, по сравнению с которой морская качка просто времяпрепровождение в гамаке. Чукотский вездеход — это когда тебя со всей силой швыряет в потолок и ты чудом не вылетаешь через брезент в холодное, мокрое небо, это когда тебя мотает так, что колени врезаются в один борт, а голова — в другой, и так ежесекундно, и так в течение долгих часов. В вездеходе невозможно заболеть морской болезнью, здесь просто смертельно устаешь.

Когда мы наконец присхали и, не веря, что земля тиха и неподвижна, спрыгнули на податливые кочки, покрытые микроскопическими голубенькими цветочками фантастической красоты, то тотчас же провалились в холодное болотце.

— Ну... — сказали аборигены. — Тундра не асфальт.

В гостинице нас ждал ужин. На раскаленной электроплитке похрюкивал громадный чайник. В кастрюле лежала грудка сахара. Раскрытые консервные банки источали тонкий аромат лососины. Посреди стола возвышалась гора из сухой колбасы и сыра.

— Это для нас? — спросили мы хозяйку гостиницы, невозмутимую женщину средних лет.

— Ну.

— И совершенно бесплатно? — не очень тонко пошутили мы.

— Ну. Ешьте на здоровье!



Пораженные несказанным гостеприимством, мы молча уселись за стол, все еще не решаясь приняться за этот роскошный даровой ужин.

— Да ешьте же, внакладе никто не будет!

Голод взял верх над застенчивостью, благо и время было позднее — магазин не работал, и мы жадно накупились на припасы, благодаря про себя местную администрацию.

— А чьи это ботинки под моей кроватью? — спросил один из нас. — Может, здесь кто-нибудь живет?

— Да нет же! — замахала руками хозяйка гостиницы. — Это тоже вам! Носите на здоровье, ну!

— Но у нас же есть!

— Сегодня есть, а завтра нет, ну? — загадочно произнесла хозяйка и, пожелав нам спокойной ночи, ушла.

А утром на поселок налетел холодный штормовой ветер. Покрыв море барашками, он приколол к земле облака, в результате чего нам было авторитетно сказано:

— Ну, застряли вы у нас, товарищи!

— Надолго?

— Бороду отрастить времени хватит — ну!

Тяжко вздыхая, побрели мы в магазин запастись провизией. Вернувшись, насыпали в кастрюлю килограмм сахара, нарезали сухой колбасы и сыра, вскрыли консервы с лососиной, поставили чайник на плиту, после чего прилегли на койки и, пригорюнясь, стали смотреть в окно.

И увидели чудо: серая извесь облаков дала трещину, и из этой трещины на улицу упал вертолет.

— На сборы — минута! — крикнул летчик, выбрасывая лестницу. — Ждать не будем!

Через минуту, держа вещи под мышкой и прижимая к груди распахнутые чемоданы, мы карабкались в кабину по шаткой лесенке.

А двое усталых и голодных путников, прибывших в поселок этим же вертолетом, ничего не подозревая о сюрпризе, который ожидал их, спрыгнули на землю и направились в гостиницу.

И вроде бы не было у них ни одной специальной приметы, и пальто, как у всех, и чемоданы, но я-то сразу понял, откуда они.

— Как Москва-матушка?

Вновь прибывшие отвечали на исчезнувшем в веках былинном языке:

— Стоит матушка, стоит красавица, вас поджидает!

— Сами-то из какого района?

— Тверской-Миусский. А вы?

— А мы арбатские.

— Значит, дети Арбата? — острит земляк.

— Ну. А ваш товарищ, который молчит, он откуда?

— А он лужниковский. Голос на митингах сорвал.

— Здесь восстановит...

— Привет белокаменной!

Но до Москвы было еще далеко: путь наш лежал на Командорские острова — совсем в другую сторону.

Буйная невысокая зелень, шершавые отвесные скалы, громадные глыбы, словно плывущие по зеркалу заливов и бухт, — таким предстал перед нами необитаемый остров Топорков, крохотная частица Командор, царство крупных краснолапых, красноносых и желтоглазых топорков — морских попугаев.

А потом был накат. Знаете ли вы, что такое накат?

Накат — это когда корабль застенчиво мнется вдалеке от берега, а к берегу идет от него шлюпка. ведомая добрыми молодцами. Шлюпка идет точно на гребне волны, совсем как некоторые преуспевающие критики, и — прямо на камни, и вот, когда волна, изгибаясь, норовит, как камикадзе, погибнуть вместе со шлюпкой, молодцы дружно выпрыгивают в воду, подхватывают свой челнок на руки и по-спринтерски мчат — как на таран — по коварно скользким камням, и вот уже обманутая волна, злобно шипя, уходит в песок, а шлюпка с запыхавшимися, охрипшими от победных криков молодцами покоится на суше. Вернуться на корабль будет труднее, но об этом можно пока не думать...

В непогоду сюда не подойти: громадные волны набегают на остров с такой силой и яростью, что кажется: миг — и от него останется только птичий пух.

Но сегодня погода отменная, и даже из серой облачной пелены выглядывает кусочек солнца. А ветер, соленый и холодный, дует ровно и с такой силой, что приходится все время нахлобучивать шапку на уши, иначе улетит.

Осторожно идем по изрытой норами земле, стараясь не наступить на яйца, похожие на обрызганные смолой гольши, а упитанные, ростом с крупную курицу, топорки высккивают из своих убежищ и свирепо впииваются в ботинки, стараясь развязать шнурки. Таким палец в рот не клади!

— Смотри-ка, — говорит один из нас. — Чьи-то следы... Клянусь, это человек! Он только что прошел!..

— На необитаемом острове?

— И надпись на камне!.. Не иначе тут кто-то есть!

Мы тревожно оглядываемся — и вовремя: резво перепрыгивая через валуны, к нам несется самый настоящий Робинзон. Только в отличие от того, который был Крузо, этот одет в яркую нейлоновую куртку, из-под которой выглядывает эlegantный свитер. У Робинзона большие глаза и длинные мягкие волосы, флагом развевающиеся по ветру. Он не замахнулся на нас самодельной пикой и не прицелился из мушкета, а застенчиво улыбнулся и, протянув руку, сказал:

— Люба...

И мы вновь бредем по острову уже в обществе таинственной Любы, старательно перешагиваем через гнезда, а над нами в воздухе стоит

страшный скандал. Смелычаки-топорки, посвистывая острыми крыльями, идут в настоящее пики.

— Давно вы здесь? — грустно спрашиваю Любу, помня, что несчастный Робинзон Крузо пробыл на острове двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней.

— Уже два месяца.

— Надо же... И все же вам повезло — наш катер к вашим услугам!

— Что вы! — удивляется Люба. — Я здесь работаю!

— Здесь?! — в свою очередь, удивляюсь я и оглядываю остров. — А что здесь можно делать, кроме того, чтобы жечь громадные костры, пытаясь привлечь внимание проходящих кораблей!

— Работа у меня несколько иного профиля.

Тем временем скандал наверху перешел в откровенные военные действия. Топорки, войдя в пики, уже норовили клонуть нас в шапки и ударить тугим крылом по лицу.

— Давайте отойдем подальше от гнезд, — попросила Люба. — Между прочим, прежде чем попасть сюда, мне пришлось выдержать нечто сложнее кораблекрушения: окончить МГУ.

— И вас что, назначили работать на необитаемый остров? Хорошенькая забота о молодых специалистах!

— Не совсем так! — смеется Люба. — Я работаю в Москве, а здесь разрабатываю свою тему: экология чистиковых птиц.

Мы переглянулись, почувствовав себя Пятницами.

— Где же ваш московский дом? — спросил я.

— В Скатертном переулке, — улыбнулась Люба. — Слышали?

— Не только слышал... — пробормотал я и, наверное, поблелел.

— Неужели... в доме номер семь?

— Семь.

— Это судьба! — решительно сказал я. — Нам суждено было встретиться!

— Точно — судьба. Если бы не Сергей, мой муж.

— Если бы не Нина, моя жена... Пока мы готовились к нашей романтической встрече, мой сын тоже закончил университет...

— Как мы опоздали! — вздохнула Люба.

— Бедные мы, бедные! — горестно покачал головой я.

— Надеюсь, вы зайдете в квартиру напротив выпить чашечку кофе?

— А вы к нам — пиалу зеленого чая!

Буйная невысокая зелень, шершавые отвесные скалы, громадные глыбы, словно плывущие по зеркалу заливов и бухт, — все дальше и дальше уплывал от нас в океан остров Топорков... И вот уже фигурка моей соседки совсем слилась с темными замшелыми скалами, и вокруг только несметные тучи топорков, кайр, бакланов и чаек, водящих над островом свои митинговые хороводы.

Проваливаясь в водяные овраги и тяжело взбираясь на стекловидные холмы, наш катер шел по направлению к Москве.

ЭПИЛОГ

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС

Приходилось ли вам, дорогой читатель, бывать в глубинке?

В глубинной глубинке, в полуторах часах езды от столицы?

Был я недавно в такой глубинке, где все взбухло от дождя, где сорван дерн стальными гусеницами мощных тракторов и вместо душистых трав проклюнулись на полях колючие кинжалы камыша, где облупленный сельмаг всегда закрыт на проржавевший с времен застоя замок, где в зыбких деревеньках на утлых завалинках сидят старушки-одуванчики и жадно глядят на дорогу, на которой уж никогда теперь не мелькнет проезжий корнет, а если бы и мелькнул, то ни на кого и ни на что не загляделся бы.

Сыро, безлюдно, уныло, безнадежно.

На окраине деревеньки узенькая дорога, по которой один раз в два часа проходит резиновый автобус.

Едут куда-то за хлебом, за молоком, за спичками, колбасой и куревом, которое загадочно исчезло, едут закутанные в серые шали озабоченные женщины с сумками, едут налегке бронзоволицые, поддатые с утра мужички, кто местный, а кто невесть откуда пришедший, у всех дела, все спешат.

Вот и я дождался в единственном числе этого автобуса на заброшенной в чистом поле остановке. Последний рейс, переполненный салон, но он все же остановился, выдавший виды, потемневший, в царапинах и вмятинах автобус.

Едва втиснулся я среди суровых телогреек, как мне сразу же стало не по себе.



Автобус молчал. Ни звука. Подвывал ветерок в приоткрытых, заляпанных глиной оконцах. Впившись в поручни, замерла разноликая толпа пассажиров, никто не шелохнется.

«Что случилось? — пронеслась тревожная мысль. — Ведь не могут все молчать просто так, все пятьдесят человек, как один, молчать так долго и дружно!..»

— Что случилось? — произнес я вслух, но сосед сердито потряс пальцем: погоди, мол, помолчи!

И тут из шоферской кабины донесся характерный, слегка охрипший голос Ельцина:

— Решение принято!

Шел российский съезд, и, внемля ему, бежал по разбитой российской дороге списанный автобус с уставшими от забот людьми. Последний автобус...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОГОВОРИМ, ЧИТАТЕЛЬ!	2
АППАРАТНЫЕ ИГРЫ	10
АНАТОМИЧЕСКИЙ ЗАЛ	22
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО	27
ЛИРИКА САТИРИКА	38
ЭПИЛОГ	45



Фотография на память (см. стр. 33). Слева направо: Крокодил, Мануил Семенов, Валентин Катаев, Марк Виленский и автор этой книжки. Дружеские улыбки начала семидесятых...

ХОДАНОВ Алексей Иосифович

РУБАКА-ПАРЕНЬ

Редактор М. Г. Казовский

Техн. редактор Л. И. Курлыкова

Сдано в набор 20.08.90. Подписано к печати 18.09.90.
Формат 70 × 108^{1/8}. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,45. Уч.-изд. л. 3,04. Тираж 75000.
Заказ № 2743. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда». Библиотека Крокодила, 1990.

Родился в 1960 году на страницах «Комсомольской правды». Не участвовал. Не состоял. Родственников за границей не имею (к большому сожалению). Влиятельных друзей тоже не имею. Заводить полезные знакомства так и не научился.

На последнем хочется остановиться особо.

Состоя в студенческой самодеятельности, не разглядев в одном из неселых остроумцев будущего Президента.

Находясь в 1963 году турпросездом во Франции, был приглашен на непринужденную встречу с восходящей кинозвездой, но променял ее на бесплатную экскурсию в Лувр. Впоследствии звездой оказалась Брижит Бордо.

Совсем недавно, кормя голубей у Большого театра, был сквачен толпой, закружен и прижат к груди элегантного черноволосого человека, пытавшегося сесть в сверкающий лимузин. И хотя неожиданная встреча продолжалась несколько секунд, в течение которых я мог бы вручить незнакомцу все свои визитные карточки и пригласить провести уик-энд на садово-огородном участке, ничего этого и сделать не догадался, был смыт толпой на прежнее место, где сопоставив кое-какую политинформацию, догадался, что побывал в объятиях у Рональда Рейгана.

Так вот и живую. Но разве так жить можно?